

МАРГАРИТА АНИСИМКОВА



ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

РАССКАЗ

Когда жизнь на исходе, весна напоминает человеку о молодости, от чего вдруг задрожит душа и высветит из памяти самые светлые минуты.

Нашему поколению особенно памятливы майские дни Победного года.

Шурка к той поре уже повзрослела, стала незаменимой помощницей в большой семье и побольше матери знала о всех сельских новостях, потому как чаще её была по разным домашним делам среди говорливых сельских баб.

Вчера, стоя в очереди за хлебом, она узнала, что после долгих уговоров Митька Мохнаткин согласился пастушить, выклянчив у баб свои условия: получать за пастьбу расчёт еженедельно и в один день, молоко чтоб (положено приносить по очереди) было томлёное в русской печи обязательно с пенкой, плюс три папироски “Беломора” и какую-нибудь похлёбку собакам.

Согласившись со скрипом с Митькиными условиями, бабы возмущались и кричали сколько было сил.

— Где я ему возьму “Беломора”? Самосаду принесу, а уж “Беломор” пусть берёт сам.

Бабы ещё недолго пошумели и успокоились. Исхудавшие за зиму коровы давно ждали выгона. Митька хоть и покуражился, но согласился. Другого пастуха нанимать они не хотели — он знал каждую корову по имени и умел с ними “разговаривать”.

АНИСИМКОВА Маргарита Кузьминична родилась в Свердловской области. Почетный гражданин городов Нижневартовска и Ивделя, Почетный гражданин Ханты-Мансийского национального округа, ее именем названа одна из улиц Нижневартовска. Член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского национального округа в области литературы за роман «Наледь». Живет в Нижневартовске.

Митька зиму хворал, маялся брюхом; местная фельдшерица помочь ему не могла, и только прибывшая в село молодая врачиха Елизавета Михайловна, про которую бабы поговаривали, что она хорошо разбирается в бабских хворях, сводила Митьку в клинику за колочей проволочкой, к врачу Цацкину, отбывающему большой срок заключения, по слухам, когда-то работавшему в самом Кремле. Он прописал Митьке лечение, от которого парень пошёл на поправку.

Место сбора стада было на пригорке Пятковского поля. Первой пригнала коровёнку Серафима Мичиха. Митька был уже на месте.

На нём была старая стёганая телогрейка, опоясанная шнурком, меховая лисья шапка с оторванным ухом. В руках длинный хлыст на коротком черенке, с торбой через плечо. Ей показалось, что Митька с прошлого года так и не уходил с пригорка.

— Эко отошала! — не обращая внимания на Серафиму, говорил Митька, шагая через лужу к рыжей коровёнке. — Видать, сена-то не хватило. — И обнял бурёнку за шею, — Ниче, ниче! Неспешно пойдём в Пятковскую пойму. Тама, наверное, травинки проклюнулись, да и ивняк в рост подался.

Дотрагиваясь лёгким прутиком до кормилицы Степаниды Рогалевой, Митька спросил: — На сносях?

— Ты уж, Митька, за ней поглядывай, а то понесётся на колхозное поле, — ласковым голосом просила Степанида.

— Не горюй! У меня нонче псы молодые и зоркие.

К этому времени из всех переулков бабы гнали коров. Митька улыбался.

— Слава Богу, перезимовали! — говорили бабы, будто оправдываясь, глядя на впалые коровьи бока. — Зима-то какая была длиннючая да морозная!

Дождавшись последнюю корову, Митька достал из-за пазухи рожок и пронзительно загудел. От неожиданности бабы вздрогнули. Коровы, забывшие за зиму звук рожка, наострили уши, потоптались на одном месте и подались вдоль сосняка по сеновозной дороге, на обочинах которой трепетали на ветру почерневшие клочки сена.

Шурка, запыхавшаяся, вылетала из-за угла, обогнав свою Пеструху. Она ругала себя, что опять попадёт бабам на язык...

— Чё наперёд коровы-то бежишь? — засмеялась Люмка Шабуниха. — Догонишь стадо, оно ещё и за поворотом не спряталось.

Волей-неволей пришлось Шурке пробежать сквозь строй баб, которые сгрудились на обочине пригорка, не расходились по домам, делились между собой сельскими новостями.

Был конец мая. Солнце рано поднималось над промороженной землёй, с порывистыми ветрами из-за гор. Оно быстро слизнуло остатки снега, но холодная морось наполняла воздух прохладой, от чего не чувствовалось ласковости солнечных лучей. Но это сейчас никого не огорчало: радостная весть об окончании войны всем согревала душу, всё вокруг казалось праздничным и светлым. Прожив целых четыре года в постоянной тревоге, людям казалось, будто враз затянулась кровоточащая рана, которая болела, ныла, не давая покоя ни на минуту. Истрадавшиеся, измученные тяжёлой жизнью, они будто оцепенели, суеверно боясь спугнуть радостную весть.

Страна ликовала. Из громадных чёрных тарелок радиоприемников с утра до вечера доносились праздничные торжественные речи, лилась музыка весёлых маршей.

В первый день Победы на площадь сбежалось всё село, играл духовой оркестр, гремела музыка, со своей старой двухрядкой прибежал Мишка Ларьков, уселся на ступеньку памятника Ленину и наяривал плясовую... С поздравлениями выступили многие односельчане, теребя в дрожащих руках скомканные шапки. С разных сторон доносились приглушённые всхлипы баб, но тут же терялись среди ликующих голосов. И всем казалось, что в воздухе витал дух тех сельских мужиков, на которых пришли похоронки.

Провожая взглядом медленно удаляющееся от села стадо, бабы не заводили на разговор о дне Победы, потому что многие из них были вдовами.

— Сказывают, Кенко Брагин с каким-то парнем-фронтовиком вчера съехал.

— Сам военком майор Шустров на станцию его встречать ездил, — почти скороговоркой выпалила Люмка.

— Откуда узнала?

— Чё откуда? На базаре дед Фрол Вотинов сказывал. Он-то уж врать не станет. А че ему врать? Наоборот, обрадовался и всех обрадовал.

Деда Фрола Вотинова в селе знали все, хотя жил он далеко, на всеми оставленном прииске Стрелебное. По давным-давно проторенной через тайгу и болота тропе он постоянно появлялся на сельском базаре, торговал деревянными корытами, необходимыми в каждой избе, и разными игрушками, которых не могли дожидаться мальчишки. Умело выструганные зверюшки и свистульки из прутьев деревьев издавали разные посвисты и переливы, напоминая голоса птиц да зверей.

В летнюю пору на его тропу выходили из соседних зимовий бабы с полными пайвами ягод, грибов, вкусными клубнями золотистой репы, про посевы которой в селе давно забыли... Гружённые лесными дарами, они шли с тяжёлыми котомками, склонившись в три погибели, удивляя сельских баб выносливостью.

— Кабы не Фрол Захарыч, померли бы на полпути, а с ним, с краснобаем, не заметишь, как пробежишь тропу. А ещё с рассказами про ту войну, с германцами, как он в окопах целых четыре года воевал и что переживал.

Года два назад рядом со Стрелебным построили железную дорогу к марганцевому руднику, чтобы доставлять руду на военный завод. Бабы испугались грохочущего по рельсам паровоза, а Фрол Захарыч, когда паровоз сбавлял ход возле крутого поворота, запрыгивал на подножку, чтобы скорее добираться до села.

В одно раннее утро, прибежав на рынок, он первым делом рассказал торгующей самосадом Насте Тиуновой, что видел приехавших в село двух фронтовиков с медалями на гимнастёрках. Его тут же обступили бабы, слушали, охали и гадали: кто бы это мог быть. Стоявшая в стороне Клавдия Сосуниха громче всех крикнула Фролу Захаровичу:

— Откуда ты сумел разглядеть медали-то? Поезд-то приходит в такую рань!

— Меньше дрыхнуть надо! — не растерялся дед. — Солнце-то в какую рань из-за гор выкатывает? Может, медали и не разглядел, а как бренчат — слышал. Экие переливчики, как нашитые на оленьих упряжках щелкунчики.

Эта весть эхом полетела по селу, постучалась в каждое окно.

— Вот Александре-то Брагixe раньше всех повезло встретить сына!.. — радовались бабы.

Шурка, догнавшая за поворотом стадо, торопилась домой, но, заметив на пригорке сгрудившихся баб, поняла, что они не оставят её в покое, пока не выведают от неё всё о Брагиных, потому что жили они по соседству.

— Куда несёшься? — остановила её Люмка. — Чё тама у Брагиных-то делается?

— Не знаю, — ответила она, не останавливаясь.

— Ты гляди-ка на неё! Ничего не знает! Поди, уж все глаза проглядела. Кенка-то жених на загляденье.

Конечно, Шурка, как все в селе, знала о том, что появились женихи. Она с какой-то трепетной радостью воспринимала эти разговоры, но не могла объяснить сама себе: откуда взялась щемящая боль, от которой вдруг начинало першить в горле и глаза наполнялись слезами. Шурка вспомнила зимний день, когда из школьного двора провожали на войну парней-старшеклассников, для которых подошёл год призыва в армию. Все они были высокие, краснощёкие, выросшие на вольном воздухе, исколесившие на лыжах всю округу. Правда, в школе особого усердия к занятиям не проявляли.

Получив повестки о призыве в армию, парни возгордились. И сразу у всех забылись проказы, шалости, будто и не было никаких нареканий у учителей и родителей. Парни уходили на войну вслед за сельскими мужиками. У них было весёлое настроение, и они не понимали слёз и печальных лиц матерей.

— Да мы этой немчуре дадим жару! — громко говорил Аркашка Попов, на днях получивший от отца письмо с фронта, в котором тот писал, что фашисты сильны и бои с ними идут смертельные, и даже приписал: “Писем скорых от меня не ждите”.

В тот день в школьном дворе играл духовой оркестр, со всех сторон шли сельчане, бежали мальчишки, бабы несли в корзинах и кульках испечённые “подорожники”.

Среди уходивших на фронт был Брагин. Тогда, в сутолоке, Шурка совсем не обратила на него внимания. Запомнила одно: Кенко, в отличие от других, был молчалив и последним прыгнул через высокий борт машины.

А теперь Кенко первым вернулся с войны! Со своим другом они ходили по селу в сопровождении офицеров из военкомата, за ними носились толпами мальчишки, забегая вперёд, считали медали на солдатских гимнастерках, сбиваясь со счёту, спорили между собой, у кого больше медалей и орденов.

Но любопытные бабы сразу заметили, что, возвращаясь домой, Кенка сильно прихрамывает и на приветствия не улыбается, а только кивает головой.

У ворот друзей встречал Прохор Михайлович, Кенкин отец, который перед носами любопытствующих закрывал чёрные от дождей и ветров тяжёлые ворота на щеколду.

— Неужели не видите, что замучили парней? Не видите, что к вечеру они еле ноги волочат? — спрашивал он мальчишек. — У Кенкиного друга второй день рана кровоточит. Она ещё не зажила. А у Кенки к вечеру всё внутри тарыхтит, как трактор. Оба они из госпиталя. Чё на них глаза-то пялите? Понятие надо иметь: за здорово живёшь ни медалей, ни орденов не дают.

Девчонок в селе было полным-полно. За четыре года войны поднялась в рост молодая поросль: многие из чахлых, полуголодных цыпущек превратились в лебедушек и наступали на пятки засидевшимся в девках сельским красавицам.

Шурка относилась к числу довоенных “недопарышей”. Она успешно училась, переходя из класса в класс. У неё обозначились густые брови. На удивление её волосы стали длинными, густыми, доставляли немало ей хлопот. Она стала долговязой, подола платьев приходилось удлинять по цвету оборками. Лоскутки и тряпицы приносила тетя Домна, работавшая техничкой в пошивочной мастерской. При этом мать поговаривала, что пора бы Шурке справиться какую-нибудь обновку, а то в чём в пир, в том и в мир.

На ногу Шурка была скорая: успевала дома по хозяйству и в школе была на виду. Её длинные косы извивались двумя змейками по спине, когда она пилила лучковой пилой дрова или со всеми корчевала пни для площадки футбольного поля.

— Отрежь ты свои косы! — посоветовала Шурке одноклассница Зинка. — Столько с ними мороки! — И тут же получила в спину такой толчок, что еле удержалась на ногах. Толкнул её Борька Сторожев, сидевший с Шуркой за одной партой последние два года.

— Ты че? — заорала Зинка. — Думаешь, никто не замечает, как ты караулишь её возле ворот, — говорила сквозь слёзы Зинка. — И Славка на неё пялится.

— Дура! — буркнул Борька, лицо которого покраснело так, будто он только что выскочил из бани.

— Все про это говорят.

Все заметили, особенно после того, как в классе появился Славка Бархатов, из эвакуированных, и тоже стал на Шурку глазеть.

Борька был парнем видным и красивым, и даже очки не могли скрыть его весёлых голубоватых глаз. Да и учился он не шалый-валяй: был кандидатом на “золотую медаль” и любые задачи решал сразу на чистовик. Но странное дело: списывать домашнее задание никому не давал, а, посмотрев в тетрадь товарища, показывал пальцем на ошибку, говорил: сам думай! Девчонки не то чтобы боялись его, а стеснялись показаться дурёхами.

Шурке не было нужды просить у Борьки списывать домашнее задание: долго вечерами сидела над решением задач по химии, сердилась на мать,

когда та просила её ложиться спать и не трогать керосин из-за какой-то мудрёной задачки. Но Шурка не хотела, чтобы Борька нашёл у неё ошибку и ткнул пальцем в тетрадь.

Слушая Зинкину перебранку с Борькой, она не нашлась, что ответить. Зинка от обиды говорила то, в чём она боялась признаться себе: приехавший из Ленинграда Славка, глядевший на неё восхищенными и одновременно испуганными глазами, тревожил её сердце. Шурка испугалась Зинкиных слов и, на удивление всем, побежала домой напрямик, через огороды, будто кто-то гнался за ней. Очувтившись возле сарая, она еле перевела дух. Необъяснимая робость и даже страх поселились в её душе, а главное, растерянность.

Ещё вчера она точно знала, что пойдёт к тётке Анисье просить красивые голубые ленточки, которые та покупала ещё до войны и которые хранятся у неё на дне деревянного сундука. Ей некому было их дарить: дочерей не было, а трое сыновей ушли на войну... Но тётка Анисья была скупа, как говорили бабы, у неё и зимой снега не выпросишь. А Шуркиной мечтой было явиться в школу с вилетёнными в косы голубыми ленточками. Сейчас она была так расстроена, что ей их совсем не хотелось. Она плакала, прижавшись к стенке сарая, боялась быть замеченной кем-нибудь из домашних. От громкого кудахтанья курицы, прыгнувшей с гнезда, Шурка вздрогнула. Услышав во дворе разговор матери с соседкой, шмыгнула к умывальнику, стала старательно мыть холодной водой пылающее лицо.

— Ревела, что ли? — мимоходом спросила мать. — Али захворала?

Шурка промолчала, еле приходя в себя от необъяснимого смятения и полного сумбура в голове. И тут от старшего брата Кольки узнала, что Кенко с другом собираются навестить их отца, ещё до войны заболевшего неизлечимой болезнью.

Больше всех этой новостью была озабочена мать: ведь гостей не усадишь за пустой стол, а к весне были опустошены все сусеки. К тому же гостями были не просто соседи, а вернувшиеся с войны парни.

— Заколем петуха. Пусть соседский кочет нынче топчет наших пеструшек, — говорила мать. — Всё равно бы по осени оставила молоденького петушка. — Взглянув на Шурку, заметила: — Ты хоть платье надень, которое тебе врачиха подарила. Не маленькая уже. Им хоть свои худые колени прикроешь. Растёшь ведь не по дням, а по часам.

— Не надену чужое! Да и не глянется оно мне. Воротника нет. Вся шея голая, да и рукава до локтей. Не буду надевать. Все ведь знают — оно чужое.

— Ты погляди на неё! Чужое! Теперя все надевают у кого что есть. Из чего тебе новое-то сошьём?

— А мне и не надо нового! — Из Шуркиных глаз непроизвольно брызнули слёзы.

— Идут! — услышала Шурка и стремглав выбежала на улицу через калитку, чтобы не встретиться с гостями. Обернувшись, видела, как парни с соседних улиц залезали на крыши сарая и бани. Во дворе неугомонно лаил молодой пес, а соседский мальчишка, по прозвищу Дутьиш, на брюхе полз во двор через подворотню.

По высокому росту и привычке при ходьбе размахивать руками она сразу узнала Кенко. Он шёл сзади Прохора Михайловича, сильно прихрамывал и о чём-то разговаривал с другом, который, слушая его, над чем-то весело смеялся, обтирая лицо подкладкой солдатской шилотки.

Лицом парень был пригож, чернобровый, с румянцем на щеках, но со склонённой головой, будто пришитой к левому плечу. Он остановился возле подворотни, откуда выползал Дутьиш, ловко схватил его за шиворот, помог выползти. Страхнул с рубахи перепуганного мальчишки пыль, потренил по взъерошенным волосам, по-видимому вспоминая свои недавние проказы.

“Вот тебе и на! — отметила Шурка, стараясь не расставаться с образом того парня. — Теперя и к Кенке так просто не подбежишь, какая-то важность в нём и хмури”.

В воздухе кружилась дорожная пыль от прошедшего с пастбища коровьего стада.

Из проулка, грохоча грязными колесами, выскочила упряжка Ульяна Со-сунова. По всей видимости, он поехал к старице рыбачить. На телеге лежала сшитая из берёзовой коры пайва, рогожный куль и костыли, без которых он не мог обходиться. Заметив Шурку, махнул ей рукой и громко крикнул:

— Как, живёшь, красавица?

Из ворот соседского дома вышла Настасья Белобородова — девица статная и всегда хорошо одетая. С Шуркой не общалась, а тут быстро перебежала улицу, подбежала к ней и схватила за руку. — Ты что, Шура, такая негостеприимная? Какие женихи к тебе в дом пришли, а ты куда-то уходишь?

Шурка от неожиданности поперхнулась, не зная что ответить. Про Настасью знала, что она недавно приехала с учёбы после окончания лесного техникума и работает учётчицей. Она сильно отличалась от сельских девочек: разговаривает каким-то тягучим голосом и вроде картавит, носит платья выше колен и выстраивает на голове высоченную причёску с длинными локонами до плеч, над которой бабы посмеиваются.

— Гостей-то, спрашиваю, что не встречаешь? — снова спросила её Настасья.

— Они к папке пришли, — после неловкого замешательства ответила Шурка. — Есть кому встретить, все дома.

— А молодого-то человека Богданом зовут? Пригожий такой, чернобровый. Годами-то, наверное, мне ровесник будет. Что и говорить: у парней теперь вся жизнь впереди, — понизив голос, сказала Настасья. — Теперь им только хороших невест выбрать. — При этих словах Настасья глубоко вздохнула. — Ты, Александра, напрасно из дому ушла. Когда ещё представится такая возможность быть рядом с такими парнями. Девчат-то на выданье в селе полным-полно, одна краше другой.

Только после этих слов Шурка поняла, что Настасье хотелось с кем-то поделиться своими мыслями и переживаниями о парнях, достойных завидных кавалерах для таких, как она. Сельские бабы, глядя на неё, говорили, что пару ей не найти.

— Да куда он, Кенко-то, денется? И парню этому ехать некуда, да, говорят, Аркашка Попов в дороге, да Леонида Чудинова ждут. Наедут женихи, — неожиданно выпалила Шурка.

— Ну и дура! — сквозь зубы проговорила Настасья. — Я-то думала с тобой как со взрослой поговорить да к вам в гости зайти. А после позвали бы парней на танцы — всем девкам назло.

— Ты что, одурела? — испугалась Шурка. — С чего это я явлюсь с тобой? Там мужицкие разговоры. Да и папка настыдит перед парнями. Да я ещё и на танцах никогда не была.

— Много ты понимаешь! Нужны парням мужицкие разговоры, когда у них при виде девок глаза загораются. Я сама заметила. Думаешь, не истосковались они там, на войне, по девкам? Дура! Иди, проводи в своей школе комсомольское собрание. У тебя, говорят, это хорошо получается, — с откровенной злобой в голосе сказала Настасья. — Я-то думала, ты умнее.

— Что ты ко мне пристала? Иди куда шла, — закричала Шурка, испугавшись собственного голоса.

Забежав в пионерскую комнату, забившись в дальний угол, присев на корточки, разревелась, не находя причину своих слёз. Она, конечно, не жалела о том, что так разговаривала с Настасьей, которая, по её понятиям, говорила сущую ерунду. Перебирая в уме каждое сказанное ею слово, соглашалась с тем, что большинство девчат рассуждают так же, что она среди них действительно как белая ворона. Ведь на самом деле ей было любо, что Кенко с другом пришли к отцу, и не было бы зазорным повстречаться с ним дома, ведь мать намекала на это.

К концу дня, подходя к дому, Шурка уловила вкусные запахи — никак петуха жарили. Увидела возле ворот мальчишек, играющих в “чикку”, карауливших фронтовиков, чтобы вблизи разглядеть ордена и медали на их гимнастёрках.

— Ты чё где-то ходишь? — спросил сосед Петька Голдобин. — У вас та-

мо гости. Сам видел, как бежал Прохор Михайлович, прижимая к брюху туесок, по которому не трудно догадаться, что в нём брага.

Тут она услышала громкий свист, которым умел свистывать только старший брат Колька. Приподняв голову, она увидела троих братьев, сидящих на крыше. Они ёжились, прижимаясь друг к другу, налетевший из-за гор промозглый ветер продувал насквозь их рубахи. Расторопный Колька отыскал на крыше кусок старого порванного половика и набросил на плечи братишкам.

— Вы-то почему не у бабушки? — спросила Шурка.

По заведённому порядку они не должны были оставаться в доме, чтобы не толкаться под ногами взрослых, не капризничать и тем более не садиться с ними за стол, когда собираются гости. Всех отправляли ночевать к бабушке. Она стелила на полатах разные пальтушки, давала туесок сушёных репных паренок и допоздна рассказывала им не только сказки, но разные небылицы из старательской жизни на приiske.

— Неохота! — ответил за всех Колька. — Все ребята возле нашего дома, а мы, что ли, у бабушки сидеть будем? Слышишь, мамка поёт?

Шурка не нашлась что ответить. Из приоткрытых окон слышались голоса, но ей и в голову не могло прийти, что мать вдруг может запеть. Сколько лет шла война, никто не слышал в домах песен, хотя песни из кинофильмов, которые привозили в клуб, на следующий же день после показа все знали наизусть.

“...Бьётся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза...” — узнала Шурка голос матери. От радости у неё задрожали губы.

— Чё стоишь? Ты уже не маленькая. Мама сколько раз спрашивала тебя. Иди, не бойся. Тама тётка Лукерья и Кенкина мать, тётка Александра. Думаешь, мама одна запела? — свесив голову с крыши, торопливо говорил Колька. — Да иди ты, иди, не бойся! — Шурка, махнув на него рукой, немного постояла возле сеней, поправила подол платья, воротник, перебрала через плечи косы и на цыпочках вошла в сени.

В это время распахнулась избная дверь, и перед ней появился Кенкин друг.

— Здравствуйте! — испуганным голосом сказала Шурка. На Шурку глядели большие чёрные глаза. Парень расстегнул ворот гимнастёрки, на которой блестели медали, и будто онемевшими губами еле слышно прошептал:

— Яка гарна! Яка люба!

Шурка вся сжалась от страха. Она не знала что делать: бежать некуда, кричать боялась. Не успела опомниться, как оказалась в его крепких объятиях. Прижав Шурку к себе, он, дрожа, целовал её глаза, щёки, лоб. Его гимнастёрка пахла гарью и лекарствами. Она успела только ойкнуть, и к её губам прильнули горячие губы парня. Она почувствовала, что ей не справиться с его буйной силой. Она стала куда попало колотить его маленькими кулачками и нечаянно поцарапала о какую-то из медалей ладонь. Эта борьба длилась не больше минуты.

К счастью, за дверью послышались чьи-то шаги. Парень отпустил Шурку. Вспотевшая от борьбы, в полном бессилии, она присела на корточки и закрыла лицо ладонями, боялась открыть глаза. Она слышала шаги солдатских сапог, удаляющиеся в сторону поленницы.

Из избы вышла мать. Шурка, не поднимая головы, узнала её по заплатке на носках. Та не проронила ни слова. Наклонившись над ней, сказала:

— Ну, чё ревёшь? Он тоже испугался, за поленницу спрятался. Что с вами поделашь? Молодо-зелено: погулять велено.

Шурке показалось, что мать всё видела, теперь и не верила собственным ушам.

— Медведь какой-то! У него силища! — сквозь слёзы, говорила Шурка, не поднимая головы.

В ответ мать хохотнула и, будто ничего не произошло, спокойно спросила:

— Чё, так и будешь сидеть на корточках? Давай, умывайся да садись со всеми за стол. Отец несколько раз о тебе спрашивал. — Но, заметив, что у Шурки дрожат плечи, ласковым голосом сказала: — Не грех, если парень поцеловал. — И ушла к шумному застолью.

Внутри у Шурки всё дрожало, кружилась голова. Вспоминая всё, что с ней сейчас случилось, она ощущала тихую радость, хотя всё ещё повторяла про себя: “Медведь, медведь!”

Перешагивая через избной порог, Шурка будто там, в сенях, оставила свою робость. Поздоровавшись со всеми, с достоинством села возле отца на поставленную им табуретку. — Наша Александра! — не без гордости сказал он. Шурка не слышала ничьих слов и не могла вникнуть в суть разговоров, она прислушивалась к шагам тяжёлых солдатских сапог.

— Богдан идёт. Куда убрали его табуретку? — засуетилась мать. Множество мыслей, словно стая испугнутых воробьёв, пронеслись в голове. Шурка уловила запах его гимнастёрки, узнала тяжёлые вздохи и голос, который не могла уже спутать ни с чьим. Шурка вся сжалась, лицо её вспыхнуло жаром. Ей казалось, что все сидящие за столом знали, что он её целовал.

— Как ты выросла, — узнала она голос Кенки, но не повернула в его сторону головы. Она хотела услышать голос Богдана, но он почему-то молчал, да и она боялась взглянуть на него.

Их поцелуй был как молния. Может быть, будь они в это время не на виду у всех, нашлись бы у него слова, от которых у неё закружилась бы голова, а может, и нет, потому что были они очень молоды.